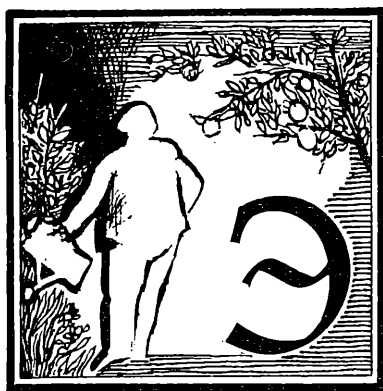


М. ЧАРНЫЙ



то было весной 1939 года. Алексей Николаевич Толстой пригласил меня приехать к нему на дачу в Барвиху.

Найти дачу Толстого оказалось не трудно. Большая, двухэтажная,

окруженная забором, она стояла на пригорке недалеко от железнодорожного пути. Навстречу мне шла молодая женщина в светлом пальто. Это была жена Толстого — Людмила Ильинична. От имени Алексея Николаевича она попросила извинить его, — он задержан ненадолго срочной работой, а мы можем пока пройтись.

Алексей Николаевич основательно устал, говорит моя собеседница. Целый год он работает над пьесой «Путь к победе», которая готовится к постановке в Театре имени

Бахтангова. Много мучительных переделок; театр недоволен, в частности, концовкой. Генеральная репетиция уже назначена, должна состояться через три дня, а Толстой все еще работает над текстом. Кроме того, всякие общественные обязанности, заседания, юбилейные комитеты Шевченко, Щедрина и т. д.

Людмила Ильинична знакомит меня с молодым садом, разбитым на участке. Дача только недавно перешла к Толстому, и все кругом носит следы переустройства.

— Вот здесь будет куст роз... А здесь дорожка... А может, лучше перенести ее сюда?

Людмила Ильинична рассказывает о нашем павильоне на Парижской выставке, где она побывала вместе с Толстым, об успехе красноармейского ансамбля; она спрашивает меня об Италии. Беседовать с ней приятно, она обладает высоким искусством непринужденного разговора.

Вскоре Людмила Ильинична уходит в дом, чтобы позвать Алексея Николаевича. Толстой появляется на крыльце — большой, грузный, в короткой тужурке; на голове синий берет, оттянутый назад.

Мы молча жмем друг другу руки и отправляемся гулять. Алексей Николаевич, видимо, еще переполнен образами, теснившими его голову и сердце за письменным столом.

Мы вышли за пределы дачного участка и оказались на тихой асфальтовой дороге, среди чистых сосновых роц и весенних полей.

Толстой с облегчением вдыхает свежий воздух.

— А все-таки скучно здесь... Мне скучно, когда одна сосна, привык к листовному разнообразию...

И, вдруг оживившись, Алексей Николаевич с удивлением говорит о том, как сухо в этом районе. Мебель, привезенная из Ленинграда, старинная, екатерининская мебель, и та рассохлась. А почему в Барвихе песчаные холмы?

И начинается экскурс в геологоисторию... Толстой говорит о ледниках, об историческом русле Москвы-реки...

Любимые Толстым отклонения в историю. Ход мышления, который я давно уже заметил в его произведениях.

Однако разговор быстро переходит на литературные

темы. Алексей Николаевич говорит о «критической дубинке», которая недавно была в ходу и от которой он сам немало пострадал. Говорит живо, с мимикой и жестикуляцией, останавливаясь на миг, чтобы выразительнее изобразить.

— Только высунешься — тебя хлясть по зубам... и морда в крови. Нетрудно это.

— И всем видно... — добавляю я.

— И всем видно... — соглашается Толстой.

— Сейчас не то, — продолжает Алексей Николаевич. —

Ну, а почему критика не замечает молодых, талантливых, неизвестных? Вот Александров... не знаю, кто такой, но замечательные пограничные рассказы в «Знамени» напечатал. Я звонил в «Литературную газету», просил отметить, ничего не сделали. Хотя бы послушали меня, ведь имею же я авторитет...

Зашел разговор о последней новинке музыкальной жизни, новой постановке в Большом театре оперы Глинки «Иван Сусанин» при дирижере Самосуде. Мнения были разные. Но Толстой буркнул кратко:

— Самосуд над Глинкой...

И трудно было понять, не то действительно он целиком порицает постановку, не то не может отказать себе в удовольствии использовать редкую игру слов.

Подходим к даче. Людмила Ильинична направляется в дом распорядиться насчет обеда. Алексей Николаевич объясняет мне, что где у него посажено в саду.

— Это вот, гляньте, все мичуринское. Ряд яблонь, потом крыжовник со смородиной... а там — помидоры, вот такие огромные, морковь. Приезжайте летом, увидите.

Алексей Николаевич говорит это так, что я чувствую, он любит все большое, значительное, выросшее на русской почве, гордится Мичуриным, этим народным самородком.

Входим в столовую. За большой стол садится семья Толстых и несколько человек гостей, в том числе сотрудник иностранной комиссии Союза писателей М. Я. Аппелтин, академик Минц.

Хозяинничает с той же непринужденностью Людмила Ильинична, но когда дело доходит до крюшона, подымается сам Алексей Николаевич. Это, видимо, такое дело, что никому он его уступить не может. Толстой открывает

бутылку шампанского, вливает его в уже приготовленный крушон, что-то колдует над сосудом, потом разливает вино в бокалы.

Я рассматриваю игру вина в хрустальном бокале.

Но Алексей Николаевич ждет, он ждет, чтобы гости отбедали его вина. Я делаю глоток. Толстой выжидательно смотрит на меня:

— Ну как?

Он ждет от меня квалифицированной оценки: ведь я недавно провел четыре года во Франции и в Италии, классических странах вина.

Я признаю себя совершенным профаном. Шампанское чувствую, больше ничего...

По «гастрономическим», что ли, ассоциациям Алексей Николаевич вспомнил, как однажды, будучи студентом Петербургского технологического института, дежурил в студенческой столовой. Вдруг вваливается группа студентов-«политиков», то есть революционеров, и говорит: «Уходи и — никому ни слова!»

— Я, — рассказывает нам Толстой, — понял, что надо уходить... Потом оказалось, что в институтской печке жгли акции, взятые в Фонарном переулке (по-видимому, во время экспроприации). На следующий день студенты говорили: да, котлеты получились дороговатенькие...

Алексей Николаевич вспоминает о революционных вожжах института — там были представлены разные партии — и добавляет не без восхищения:

— А держались как! Действительно — все за одного. Однажды обнаружили провокатора, так очень просто: спустили с четвертого этажа. Никто и не узнал, как это случилось, — мало ли что бывает... упал, покончил самоубийством...

После обеда Алексей Николаевич приглашает меня:

— Пойдемте ко мне наверх.

Мы поднимаемся на второй этаж, в кабинет. Просторная комната. Ближе к противоположной от входа стене письменный стол. Небольшой, старинного типа, почти без книг. В середине комнаты — столик с пишущей машинкой. У входа направо еще столик, на котором стоит кофейник. Кресла. На стенах картины, портреты людей прошлых веков. На полу у письменного стола шкура белого медведя.

Алексей Николаевич усаживает меня в кресло, сам садится на свое место за письменным столом и берет машинописную рукопись, испещренную поправками:

— Вот...

Он рассказывает о работе над пьесой «Путь к победе». Целый год утомительного труда, переделки, замена концовки...

И я вспоминаю, как удивил меня Толстой несколько месяцев тому назад. В канун Нового года в Московском клубе писателей был организован вечер молодых писателей братских республик, которые съехались на курсы конференции. Говорили Фадеев, Федин, Катаев, Соболев. Выступал и Алексей Николаевич Толстой.

Он был в сером костюме с орденом Ленина на лацкане и значком депутата Верховного Совета. Очки в тонкой оправе, за ними небольшие острые глаза. Алексей Николаевич показался мне на этот раз усталым, очень сутулым.

Он начал медленно, раздумчиво; точно подбирая слова:

— Писать всегда трудно. Каждый раз приходится преодолевать какие-то препятствия. Не бывает так, что писать легко...

И это трудно ему?— удивился я, и, вероятно, не только я. Ему, замечательному мастеру русского слова, художнику вонстину божией милостью!

Я знал уже к тому времени, какой нелегкий путь прошел Толстой, знал о том, что вначале «слово брыкалось» и, по его признанию, точно конь, несло его в дебри. Но ведь потом он взнуздав коня и, казалось, с такой игровой легкостью управляет им.

Познакомившись поближе с Толстым, с творческой историей его произведений, я узнал и то, что бывали у него периоды чудесной легкости труда, когда он писал пьесу в две-три недели, но всегда оказывалось, что это «божественное вдохновение» было результатом долгого, неустанный предварительного накопления. А в основном — работа, работа, работа, такая, что «спина трещит» и «дым из головы идет».

И как умно, как профилактически важно, что на собрании молодых литераторов Толстой говорит сейчас об этом. Ведь представители прежних литературных школ, особен-

но декадентских, в частности символизма, считали, что они поднимают престиж своего искусства, изображая его как наитие, как сон, как таинственное касание неземного духа.

Что говорить — и у молодого Толстого тоже можно было найти заявления в подобном стиле, но теперь, в расцвете своего таланта и славы, он отбрасывает литературное шаманство.

Постепенно разойдясь, Алексей Николаевич говорит более оживленно. Неподвижно лежавшие на кресле руки приходят в движение.

— Художник должен быть дерзким. Надо открывать новое. Народ, дерзающий поставить всю вселенную с головы на ноги, должен иметь дерзающую литературу.

Толстой возвращается к своему опыту:

— В пятнадцать-шестнадцать лет я начал писать стишки. Очень плохие. Совершенно бездарные. В тысяча девятьсот пятом году писал революционные стихи. Также плохие.

Потом он говорил о том, как начал записывать рассказы матери, тетки и других об оскудевающем — материально и духовно — дворянстве, как на этой основе возник цикл новелл «Заволжье» и роман «Хромой барин», как эта тема быстро иссякла.

— Я искал новые темы, необычайные положения, метался, был беспомощен и чуть не скатился на уровень бульварного писателя.

В клубной комнате, в которой мы сидели, стало душновато, — надышали; бледное лицо Алексея Николаевича порозовело. Он вынул трубку и закурил. Но говорил теперь легко, все более и более увлекаясь.

— Мы формировались в эпоху величайшей реакции и разложения интеллигенции. Идейной зарядки не было. Началась война, и молодые писатели, не знавшие ничего, кроме литературных салонов и ресторанов, столкнулись с народным горем и народными страстями.

Толстой подымается, садится «по-молодому» на ручку кресла, курит, рассказывает об анекдоте, который слышал от Горького.

Атмосфера на вечере становится совершенно неприужденной.

Алексей Николаевич отвечает на реплики и вдруг бросает серьезно и чуть завистливо:

— Вам, молодым, советским, лучше... у вас есть великие идеи... А писать — трудно.

Это было несколько месяцев тому назад, а теперь Толстой показывает мне рукопись «Путь к победе», как бы иллюстрацию этой трудности. Он рассказывает содержание отдельных картин, некоторые отрывки читает. Говорит также о своей пьесе «Чертов мост», которая идет в двух московских театрах; идет-то идет, а критика ругает...

— Алексей Николаевич, я прочитал у Голлербаха (автор одной из первых брошюр об Ал. Толстом), что вы считаете себя больше драматургом, чем прозаиком, и удивился.

Толстой чуть усмехнулся.

— Вероятно, я тогда работал над пьесой и сказал ему это. Конечно, я — прозаик. Но люблю, очень люблю театр. Книга — это часто мертво. Где, что, как откликнется — не знаю. А театр — это жизнь, немедленная реакция, живой контакт с зрителем.

Я говорю Алексею Николаевичу, что отмечаю как характерное в его мышлении художника историзм.

— Да, — соглашается он, — историзм, но не всякий. Не «Саламбо». Только определенные эпохи.

Из коротких и торопливых реплик Толстого ясно, что он никоим образом не хочет оказаться в числе музейстов, эстетствующих любителей старины во имя старины. Его интерес к истории, к ее наиболее значительным эпохам — это попытка лучше познать современность, судьбы народа через его исторический опыт.

— Конечно, — продолжает Толстой, — трудно говорить о себе, но мне кажется, что у меня сильная сатирическая струя, гоголевская. Вы не заметили? Я очень любил Гоголя, хотя основное-то, может быть, тургеневское; я ведь по матери из Тургеневых (жест в сторону небольших старинных портретов на стене), но и гоголевское есть...

Я соглашаюсь, вспоминаю «Под старыми липами», «Чудаки».

— А «Ибикус»? — добавляет Алексей Николаевич. —

Я очень люблю смех, веселость, игру слова. Ведь искусство — игра. Иногда садишься за стол с намерением написать что-нибудь глубокомысленное — ничего не получается, получается скучно. А с игрой, весело — выходит.

Мне, разумеется, трудно принять это как общую закономерность искусства. Само творчество Толстого, очень содержательное и значительное, говорит против этого.

Но Алексей Николаевич, видимо, не хочет отказаться от «игры».

— Вот «Хромого барина», — говорит он, — я писал глубокомысленно и ведь запутался...

Писатель иногда попадает в плен маленьких пристрастий, которых сам, может быть, не замечает.

— У вас, — говорю я Алексею Николаевичу, — почти все персонажи, которых вы любите, обладают синими глазами. В «Хождении по мукам» у Анисьи большие синие глаза, у матроса Шарыгина синие красивые глаза, у юной революционерки Маруси ярко-синие небольшие глаза...

— Неужели? — удивился Толстой.

— Я мог бы вам привести длинный список... У Телегина, как говорит Даша, светло-голубые глаза, но в решительный момент они все равно... синеют.

Входит Людмила Ильинична. Извиняясь, она напоминает, что внизу ждет Аппетин, который хочет еще поговорить с Алексеем Николаевичем, что последний поезд отходит через десять минут, и если я не поспею на него, то придется ждать машины Аппетина.

Мне неловко задерживать Алексея Николаевича, боюсь, не утомил ли его, но Толстой увлечен беседой, он ходит по кабинету, пересаживается в кресло поудобнее. Разговор перескакивает с одной темы на другую.

— Есть два типа интернационалиста, — говорит Алексей Николаевич. — Один — Ленин. Он пришел к интернационализму как к высшему через реальное, настоящее, национальное. Другой — Троцкий или, например, Осинский — поверхностное, космополитическое...

Потом Толстой рассказывает мне о Сталине, с которым он встречался. Спокойная речь Сталина произвела на Толстого впечатление скромности...

— Говорит так обыкновенно, а потом спохватываешься: да ведь это директива...

В литературных кругах кое-кто склонен был позлословить насчет Толстого, обвиняя его в приспособленчестве. Я верил в искренность Алексея Николаевича. Большой русский характер, любящий все крупное, монументальное, с размахом, с дерзким замыслом, он давно был подготовлен к приятию революции. Об этом говорит большинство его дореволюционных произведений, где он беспощадно изобличал всю гниль старого строя. В первые же дни Февральской революции он почувствовал, что дело не может ограничиться свержением самодержавия, и на собрании московских писателей произнес следующие вещи слова: «...ясно, что ни царская ливрея, ни сюртук буржуа уже не на наши плечи».

Но потом началась гражданская война, и политически малоопытный Толстой оказывается в эмиграции. О годах эмиграции он сам не раз говорил как о самом кошмарном периоде своей жизни.

Возвращение на обновленную родину было совершенно естественным. Но ошибки эмигрантских лет долго мучили Толстого, и он считал необходимым всячески искупать их. В этой психологической атмосфере он легко принимал за необходимость то, что ему казалось «директивной» революции. Так появился «Хлеб», которому Толстой отдал немало таланта, но атмосфера культа личности привела к искажению и извращению исторической правды в этом произведении.

...Прошло не десять минут после предупреждения Людмилы Ильиничны, а час десять, если не больше.

— Ну, теперь пойдете вниз,— говорит Толстой и спускается по лестнице.

Внизу ждет Аппетин, и Алексей Николаевич вместе с ним снова подымается в кабинет. Вскоре они возвращаются. Пора наконец уезжать. Но Алексей Николаевич еще не «остыл». Он спрашивает меня о Вячеславе Иванове, которого я видел недавно в Риме, зажигается огнем воспоминаний и рассказывает о символистах, о временах, когда властителями умов были Мережковский, Гиппиус, Философов.

— Да, да... что эти трое скажут, так и считалось... Ведь читателей всего-то было тысячи три. А теперь мне что,— добавляет с юношеским озорством Алексей Николаевич,— теперь читателей пятьдесят миллионов.

Тут же Толстой рассказал забавную историю своего первого знакомства с Мережковским, этим заправилкой российских декадентов и мистико-символистов. Студентом Алексей Николаевич прочел книжку рассказов Д. Мережковского и пришел в восхищение: «Замечательные рассказы! Гениальные!» Потом оказалось, что это рассказы... Анатоля Франса, которые Мережковский перевел. Как-то случилось так, что имя Мережковского было указано, а имя Франса опущено...

Алексей Николаевич очень весело рассказывал эту историю. И, слушая его веселую, сочную, вкусную речь, я подумал: «Как интересно читать Толстого! Но, может быть, не менее интересно слушать его...»

Уже полночь. Мы уезжаем. Алексей Николаевич провожает нас в передней. Просит приезжать. Людмила Ильинична накидывает пальто и выходит, чтобы посмотреть, не спущена ли собака.

Однажды я встретил Толстого в Союзе писателей в дни, когда проходила сессия Верховного Совета СССР. Он как раз вернулся с одного из заседаний.

На мой вопрос «Что нового?» Алексей Николаевич ответил добродушным ворчанием: «Вот заседаю, заседаю, а писать когда же?»

Это было, как говорят французы, *façon de parler*. В действительности он очень гордился своим званием депутата и придавал ему огромное значение. Толстой очень хорошо знал положение писателя в дореволюционной России и в современном капиталистическом мире. В советском обществе писатель занял место, несравнимое по своему общественному значению. Дело не только в «пятидесяти миллионах читателей», о которых с таким удовлетворением говорил Толстой. В общественном сознании писатель поднят необычайно высоко. Алексей Николаевич помнил и особенно ценил то, что его избрали депутатом именно как писателя.

И он с большим увлечением занялся новыми видами общественной и государственной деятельности, с каждым днем убеждаясь, что эта деятельность не только не ущемляет его как писателя, а, наоборот, обогащает все новыми и важнейшими впечатлениями, бесценным опытом. Он

сам сказал об этом: «И хотя я всегда связывал свою судьбу писателя с судьбой родного мне советского народа, с его мыслями и чаяниями, но с того момента, как меня избрали в Верховный Совет, эти связи удесятерились, стали во много раз теснее и живее, принося мне огромный политический опыт как депутату и большое творческое вдохновение как писателю».

Толстой почувствовал ответственность не только за то, что он лично делает, но и за общее состояние литературы в стране. И он, помимо своей писательской работы, взялся за литературно-общественную деятельность. Он возглавил группу по составлению учебника «История литературы народов СССР». Он взялся также за другую работу, которой придавал исключительное значение,— за издание накопленного веками русского фольклора. Он принимал непосредственное участие в руководстве Союзом писателей, был избран членом Академии наук СССР.

Всегда внимательно следивший за развитием советской литературы, Алексей Николаевич с особым, «хозяйским» чувством читал новые, появляющиеся в наших издательствах и журналах вещи, радуясь талантливому слову и оберегая каждый литературный росток.

В начале 1940 года появилась повесть Р. Фраермана «Дикая собака Динго, или Повесть о первой любви». Критик В. Перцов отрицательно отнесся к этому произведению. Я выступил в «Литературной газете» в защиту повести. Едва только статья появилась в газете, как я получил следующее письмо:

«22/II 1940.

Дорогой товарищ Чарный,

Вы хорошо написали об очаровательной повести Р. Фраермана. В ней есть и маленькие погрешности языка и влияние Гамсуна (хорошее) и кое-какие мелочи, которые хотелось бы выразить непосредственное. Повесть свежа, пронизана тончайшим незинным благоуханием любви (раньше выражались: «эросом»), ощущением природы и добротой. Я очень рад, что Вы заступились за нее. Я сам хотел написать об этой повести Динго, но, во-первых, не умею писать критических статей, во-вторых, нет времени.

Позвольте пожать Вам руку.

Алексей Толстой».

Значительную часть 1939 года я посвятил работе над статьями об Алексее Толстом. Читать и перечитывать его, писать о нем было наслаждением. Наслаждением не только эстетическим, которое испытываешь на горных вершинах большого искусства. О нем было интересно думать. Он раскрывал необычно широкие горизонты и вмещал очень много — от последышей крепостного дворянства до героев социалистической революции. Его произведения о Петре и петровском времени пробуждали много мыслей, которые казались необычайно актуальными в наши дни. Даже ошибки Толстого были интересны.

Время было тревожное. Гитлеровцы, захватившие власть в центре Европы, нагнали с каждым днем. На Западе вспыхнула война. Мы жили с ощущением нависающей угрозы, понимая, что, если только обстоятельства будут благоприятствовать нацистам, они нападут и на Советский Союз.

В этих условиях необыкновенно актуальной стала тема патриотизма, тема родины. Но еще с 1917 года она, как ни у кого другого, была центральной мыслью, основной заботой, любовью и тревогой всего творчества Толстого. Алексей Николаевич прошел через долгий и мучительный опыт, представление о патриотизме менялось у него, пока не привело его к позиции советского патриота. Свою первую статью о Толстом я и посвятил этому — «Тема родины в произведениях Алексея Толстого»; она была напечатана в журнале «Молодая гвардия».

Алексей Николаевич знал, в общих чертах, о моей работе, но за всеми журналами не успевал следить. В начале марта 1940-го я получил от него следующее письмо:

«5/III 1940.

Дорогой товарищ Чарный, к сожалению, я Вашей статьи «Тема родины...» не читал. Где она была напечатана?

Если Вы не закончили статью, которая пойдет в «Октябре», то я очень бы хотел, чтобы Вы ознакомились с началом нового романа «Хмурое утро» (3-я часть Хожд. по мукам), которое я даю 15 марта в «Новый мир» и «Молодую гвардию». В этом романе много для меня са-

мого нового. А также хотелось бы, чтобы Вы прочли «Эмигранты». Это серьезная переделка «Черного золота». Горячий привет

Алексей Толстой».

В статью, печатавшуюся в первом и втором номерах «Октября» за 1940 год, я уже не мог ничего вставить, но с нетерпением ждал, разумеется, «Хмурое утро».

«В этом романе много для меня самого нового...» В чем же?

Между появлением второй части трилогии («Восемнадцатый год») и третьей («Хмурое утро») лежит промежуток в десять с лишним лет. А ведь сначала у Толстого было намерение сразу после «Восемнадцатого года» приняться за «Девятнадцатый год». Он подробно договаривался об этом с редактором «Нового мира» Вяч. Полонским.

В ноябре 1928 года он сообщал ему: «По «19-ому году» у меня собран огромный материал, все наготове...» В декабре того же года Алексей Николаевич писал: «19-й год» я ни в каком случае писать не раздумал».

В сентябре 1930 года Толстой писал тому же Полонскому: «...Недавно я вернулся из поездки по югу и там самым твердым образом решил немедленно начинать «19-й год». Это буквально социальный заказ. Нет человека, нет организации, собрания, библиотеки, где мне не задали бы вопрос о «19-м годе». Интерес к этому будущему роману действительно острый».

Все было — большой интерес и нетерпение читателя, горячее желание писателя, огромный материал «наготове», — только сам писатель не был готов идейно...

Чувство ответственности Толстого перед эпохой росло с каждым годом, с каждым успехом его новой книги. Вскоре после выхода «Восемнадцатого года» он уже видел его слабые стороны, причиной которых было недостаточное знание революционной эпохи, ее идей и движущих сил.

В тех же письмах Полонскому, о которых я упоминал, Алексей Николаевич писал: «...Я боюсь той оглядки в романе, которая больше всего вредна. «18-й год» я писал безо всякой оглядки, как историческую эпоху, а в «19-м годе» слишком много острых мест, и наиострейшие — это

крестьянское движение — махновщина и сибирская партизанщина, которые корнями связаны с сегодняшним днем. А эти точки связи сегодняшнего дня крайне сейчас воспалены и болезненны и отношение к ним беспокойное...»

Толстой стал писать «Петра», написал «Хлеб» и несколько других вещей и только через десять с лишним лет вернулся к третьей части трилогии.

В «Хмуром утре» старые герои «Хождения по мукам» — Телегин, Даша, Рощин — встречаются с рабочим-большевиком Иваном Горой и его подругой Агриппиной, с героями, которые составляют ядро Красной Армии, ее основную идейную и боевую силу.

В «Сестрах» было чувство смятения перед грозой революции; в «Восемнадцатом годе» — то же смятение, смешанное с удивлением перед размахом и неожиданной силой революции, в «Хмуром утре» — ясное и безусловное моральное оправдание революции, утверждение ее народного характера, ее исторического смысла.

Не в этом ли «новое», о котором говорил Алексей Николаевич?

Двадцать два года работал Толстой над трилогией «Хождение по мукам». Муки кончились. Революция победила. Интеллигенты, герои романа, нашли путь к народу, родине. Роман заканчивается страницами о съезде Советов, который обсуждает план электрификации России, мечтою о созидании, о свободном труде, преображении Родины.

И надо же быть такому совпадению: день, когда Толстой дописал последнюю страницу, оказался днем 22 июня 1941 года. Началась новая, неслыханная война.

Мне не удалось тогда выполнить просьбу Алексея Николаевича и написать о «Хмуром утре». Война отвлекла все силы.

Сам Толстой оставил на время работу над художественными произведениями. Одна за другой стали появляться его статьи, проникнутые гневом и презрением к фашистским убийцам, вдохновленные острой любовью к Родине и болью за нее, призывом к яростной борьбе. Эти статьи, печатавшиеся в центральных газетах, перепечатывались в других, проникали в заграничную печать и получали огромный резонанс.

Война затянулась. Вскоре стало ясно, что для духовного вооружения воинов важны не только такие оперативные виды оружия, как статья, песня, боевое стихотворение, но и монументальные, «тяжелые», в которых мощно звучит тема родины. Понадобилось новое издание «Хождения по мукам».

Такое издание и вышло в 1943 году. Толстой проделал для него большую работу. Он пересмотрел весь текст в свете нового опыта. Он внес очень значительные исправления в первые две части трилогии (подробнее об этом в моей книге «Путь Алексея Толстого»). Исправления, которые нельзя считать только стилистическими. Это были поправки большого идейно-художественного смысла.

С удовлетворением обнаружил я, что Алексей Николаевич согласился со многими замечаниями критических статей и в соответствии с ними ряд мест исправил, уточнил или снял вовсе.

Последний раз я видел Толстого в феврале 1945 года в Колонном зале Дома Союзов. Алексей Николаевич был мертв. Жестокая болезнь, рак легких, погасила это пламенное, столь жизнелюбивое сердце, этот острый ум и блестящий талант.